

Глава 2. Смутное время и XVII век.

Возникает вопрос: а с какого момента нам следует начать перелистывать нашу историю?

Известна точка зрения, согласно которой татаро-монгольское иго оставило в России столь неизгладимый след, что в решающей степени предопределило ее историческую судьбу, и, следовательно, именно в тех веках надо-де искать первопричины всех главных событий нашей истории вплоть до настоящего времени, «вектор» всего последующего развития. Не будем подробно разбирать резоны, лежащие в основе данной точки зрения. Однако обратим внимание на три обстоятельства. Во-первых, даже если это и так, то все же пять столетий, прошедших со времени «стояния на реке Угре», - слишком большой срок, чтобы можно было пренебрегать им в процессе исторического объяснения, рассматривая все последующее лишь как простое продолжение сформировавшихся еще в XIII в. тенденций.

Во-вторых, представляется далеко не бесспорным допущением смотреть на военное нападение монголов на русские удельные княжества как на столкновение различных культурных стереотипов. Действительно, столкнулись различные общественные уклады и кочевые племена напали на оседлых соседей и на какое-то время подчинили их в военно-фискальном отношении. Ситуация во всемирной истории типичнейшая. (Более того, Русь с татарами еще «повезло». Ведь в Китае и Средней Азии монгольские племена в тот же период отнюдь не ограничились обложением местного населения данью, а взяли в свои руки и политическую власть.) Однако все это само по себе не дает оснований говорить о какой-либо конфронтации на уровне культурных типов.

Нет данных, свидетельствующих о том, что в период, предшествовавший татарскому нашествию, на Руси существовали хотя бы зачатки персонцентристской шкалы ценностей. Напротив, все известные факты подтверждают обратное¹). Таким образом, **русско-татарский конфликт**

произошел в рамках единого системоцентристского генотипа. Хотя бы по этой причине он не мог внести в моральные стереотипы и национальный характер русских столь серьезные изменения, чтобы было оправданным рассматривать его как какой-то роковой надлом исторической судьбы народа, якобы предопределивший ход всей его последующей истории.

В данном контексте заслуживает внимания и крайняя, бросающая вызов практически всей отечественной историографии концепция Л. Н. Гумилева 2), согласно которой никакого татарского ига на Руси вообще не было. Между Ордой и русскими княжествами, по его мнению, существовал военно-политический союз, в рамках которого русские князья как более слабая сторона данью оплачивали свою безопасность и право распоряжаться собственными землями. Более того, подобное положение устраивало большинство князей, и они охотно ездили на поклон к ханам за «ярлыком» - мандатом на правление, поскольку раньше, в условиях междоусобной резни, они должны были добывать себе престол при помощи такого ненадежного и обоюдоострого средства, как меч, а теперь попросту покупали его, к тому же за счет своих подданных. (В этом деле, как известно, весьма преуспели московские князья-«собиратели», и особенно Иван Калита, который не только постоянно пресмыкался перед Золотой Ордой в обмен на право грабить своих соотечественников, но и неоднократно по поручению татар участвовал в карательных акциях Орды. Так, он возглавлял рать во время совместного с воеводой Товлуком устрашительного похода 1340 г. против Смоленского княжества, а также сделал все возможное для уничтожения руками татар восставшего против них тверского князя Александра 3).

Думается все же, однако, что над Гумилевым довлела его романтическая теория «степной цивилизации». Более сбалансированной представляется точка зрения В.О. Ключевского, который, употребляя понятие «иго», вместе с тем считает, что его влияние на Русь было не очень значительным, а развивалась она в соответствии с собственными внутренними закономерностями. К тому же он находит в татарском сюзеренитете над Русью и весьма существенную положительную

сторону: «Всеволодовичи XIII в. в большинстве плохо помнили старое родовое и земское предание и еще меньше чтити его, были свободны от чувства родства и общественного долга... В опустошенном общественном сознании оставалось место только инстинктам самосохранения и захвата. Если бы они были предоставлены вполне самим себе, они разнесли бы свою Русь на бессвязные, вечно враждующие между собою удельные лоскутья... Власть этого хана давала хотя бы призрак единства мельчавшим и взаимно отчуждавшимся вотчинным углам русских князей... Гроза ханского гнева сдерживала забияк; милостью, т. е. произволом, хана не раз предупреждалась или останавливалась опустошительная усобица. Власть хана была грубым татарским ножом, разрезавшим узлы, в какие умели потомки Всеволода III запутывать дела своей земли. Русские летописцы не напрасно называли поганых агарян батогом Божиим, вразумляющим грешников, чтобы привести их на путь покаяния» 4).

Татарских гарнизонов, как известно, на русской территории не было. Баскаки бесчинствовали отнюдь не больше собственных сборщиков дани. Православная вера - важнейший компонент тогдашней общественной жизни - в целом татарами уважалась. Конфликт в этом плане произошел позднее, когда Орда приняла ислам.

Словом, так или иначе нам нет смысла в данном случае уходить столь далеко «вверх по течению» русской истории, тем более что, как мы убедились, можно по-разному оценивать не только степень и характер влияния тех далеких событий на сегодняшний день, но и сам их исторический смысл.

Можно попытаться вести отсчет от XV столетия, скажем, от Ивана III. Его правление действительно составило эпоху, а роль самого Ивана оценивается некоторыми историками очень высоко. А.Л. Янов, например, вообще считает, что времена Ивана III для России - «утраченный рай» якобы зародившегося тогда в России, но позднее бесследно погибшего абсолютизма европейского образца. Лично мне такая позиция представляется определенной исторической идеализацией, «нас возвышающим обманом». В частности, методологически весьма спорной модернизацией истории представляется попытка рассматривать

нестяжателей как «либеральную интеллигенцию» да еще и «проевропейской ориентации», а их противников иосифлян - как «интеллигентов-радикалов» антиевропейского, «евразийского» толка. К тому же, независимо от этого, думается, для целей настоящего исследования этот период можно опустить, поскольку по интересующим нас этической и психологической осям он ничем особенным не примечателен, а также, как говорится, «за давностью».

Есть соблазн начать с XVI в. изучения стереотипов людей, которым выпало несчастье жить в одно время и в одной стране с Иваном Грозным, тем более что напрашиваются очевидные аналогии с относительно недавними временами и фигурой всероссийского палача и маньяка середины XX в. Однако думается, что нет особой нужды развивать эти аналогии именно в силу их очевидности. Нет необходимости всерьез опровергать сталинско-эйзенштейновскую версию о «крутом, но мудром государе». Она была порождением конъюнктурных политических нужд.

Таким образом, пользуясь методом логического исключения, мы подошли к XVII столетию, и, видимо, отсюда следует начать наш путь «вниз по течению» российской истории.

Но прежде чем начать систематическое описание основного ствола российского культурного генотипа, необходимо хотя бы упомянуть о такой его боковой ветви, как субкультура вольных городов - Новгорода, Пскова и отчасти Вятки 5). За последние полтора века Новгородская республика превратилась в либеральном сознании в некий символ утраченной свободы, нереализовавшихся потенций русской демократии. Думается, однако, что этот не лишенный оснований взгляд тоже связан с определенной исторической идеализацией. Действительно, в течение приблизительно трех с половиной столетий (вторая четверть XII в. - третья четверть XV в.) социально-политическая жизнь Новгорода заметно отличалась от того, что происходило на территории остальной Руси. Договорный характер отношений города с князем, многочисленные юридические ограничения, налагавшиеся на его деятельность, наличие действовавшего в качестве политического института народного веча с независимыми от князя выборными исполнительными органами 6)

посадником и тысяцким, а также «законодательной комиссией» в лице совета господ, даже сам анархический характер вечевых дебатов и санкционированный обычаям способ разрешения конфликтов между богатыми и бедными слоями населения на основе «кулачного права» - все это убедительно свидетельствует о зарождении и развитии совершенно необычного для Руси типа политической культуры, о существовании в новгородском общественном сознании не характерных для обитателей Русской равнины представлений о роли и значении отдельной личности.

На эту тему написано немало. Меньше известно о таких отрицательных особенностях Новгородской республики, как не сдерживаемые никакими политическими механизмами разнузданность и жестокость столкновений различных имущественных и общественных слоев, а также о том, что закрепощение крестьян в вольной Новгородской земле началось на полтора-два века раньше, чем в других частях Руси. Ключевский в черновом варианте своих лекций в метафорической форме показывает противоположность соотношений индивида и социального целого в московском и новгородском общественных укладах: «Москва - впечатление муравейника: много суеты и беготни, но нет жизни; много терпеливых, выносливых спин, но не лица... огромная безустанная коллективная (мирская) работа, но без следа личного счастья (благополучия). Это зрелище утомляет и приводит в уныние: видим общество, мир, но не людей и начинаем тосковать по человеку. А тут политический порядок, в котором только люди (заслоняющие) и не видно общества, из-за буйных и честолюбивых богачей не видать народа, где каждый за себя и никто за всех, играют только интересы и не видно закона. Москва - многоликая масса, как один человек. Новгород - человек, старающийся побороть всю массу, как Садко» б).

Близким к Новгороду по своим политическим институтам, но значительно более спокойным, благоустроенным по формам их непосредственного функционирования был Псков. Решающую роль в этом отношении сыграли, вопреки всем прочим весьма неблагоприятным для города обстоятельствам, факторы социально-этического и социально-психологического порядка. Это нашло отражение и в отношении

псковитян к закону, которому они в полной мере доверяли и к которому обращались как к самому надежному и справедливому средству разрешения споров. Не случайно Псковская Судная грамота - наиболее развитой в Древней Руси устав как материального, так и процессуального права, к тому же проникнутый идеями равнозначности борющихся частных интересов, нравственной обязательности юридических норм для всех участников правоотношений. В частности, псковский закон занимал беспрецедентную для Древней Руси позицию защиты личной свободы земледельцев, и поэтому Псковщина в то время была единственным местом, где нет даже следов холопства и других полусвободных состояний. В социально-политическом плане Псков можно рассматривать как «улучшенный вариант» Новгорода. Увы, историческая судьба отпустила ему слишком мало времени и возможностей для свободного развития. Как и Новгород, он был растоптан и поглощен раздувавшейся Московией.

В рамках же избранной нами дихотомии и Псков, и Новгород представляются эмбриональной фазой развития не прижившейся на русской почве исторической антитезы системоцентризма - своего рода «предперсоноцентризмом». И пожалуй, для философии русской истории всего поучительнее вспомнить о том, что в последней схватке Москвы с Новгородом симпатии всех русских оказались на стороне явного агрессора - великого князя московского Ивана III. Новгородцев не поддержал никто. Низовая Русь восторгалась, наблюдая за гибелью своенравной республики, жители которой «вознеслись гордостью», т. е. избежали деспотизма великокняжеского правления, не признали нормальным столь привычное для россиянина рабское состояние. Сработала привычная русская логика: «Если мне плохо, пусть и соседу будет не лучше».

Кстати, разгром Новгорода - главного посредника тогдашней Москвы в ее торговых и вообще культурных сношениях с Западом, посредника, который при более разумной политике мог бы приносить ей огромную выгоду, и притом без всякого риска, так как он, помимо прочего, выполнял еще и роль «буферного государства», - отлично иллюстрирует ложность марксистской догмы, согласно которой политика есть всего

лишь «концентрированное выражение экономики». Как видно из данного примера, политическая власть, принимая решение, вполне может пренебречь экономическими соображениями. В самом деле, на Руси в XV в. не было такого класса, которому был бы экономически выгоден разгром Новгорода. Зато по осям социально-этической и социально-психологической имелся весьма серьезный резонанс уничтожение опасного, враждебного генотипа. Это преимущественно и определило политическое решение.

Но обратимся, наконец, к веку XVII. В.О. Ключевский в своей периодизации именно с него начал отсчет нашей новой истории, изучая которую «чувствуешь, что чем дальше, тем большеходишь в область автобиографии, подступаешь к изучению самого себя, своего собственного духовного содержания» 7). Думается, что изучение XVII в. может иметь огромное значение для развития нашего самосознания не только потому, что именно тогда завязывались узлы наших исторических судеб, но также и в силу сходства, порой просто поразительного, ряда процессов и событий с явлениями последующего времени, включая и XX век 8).

Оценивая состояние российских умов в начале XVII столетия, следует констатировать абсолютное господство системоцентристской этики во всех слоях общества, на всех его «этажах». Всего лучше это проявляется в представлениях о сущности государства, характере отношений царя и народа, о социальном смысле связывающих их уз, об источнике государевой власти. «... Государство московского государя считалось его вотчиной, наследственной собственностью... Государство понимали не как союз народный, управляемый верховной властью, а как государево хозяйство... Потому народное благо, цель государства, подчинялось династическому интересу хозяина земли и самый закон носил характер хозяйственного распоряжения, исходившего из московецкой кремлевской усадьбы и устанавливавшего порядок деятельности подчиненного, преимущественно областного управления, а всего чаще - порядок отбывания разных государственных повинностей обывателями» 9). Не существовало и идеи законности, ибо, как отмечает Ключевский, не было актов, «которые можно было бы признать

основными законами, определяющими строй и права верховной власти, основные права и обязанности граждан» 10). «Тогда у нас и не понимали государства иначе как в смысле вотчины, хозяйства государя известной династии, и, если бы тогдашнему заурядному московскому человеку сказали, что, правя народом, государь служит государству, общему благу, это показалось бы путаницей понятий, анархией мышления» 11). «Московские люди XVI века видели в своем государе не столько блюстителя народного блага, сколько хозяина московской государственной территории, а на себя смотрели, как на пришельцев, обитающих до поры до времени на этой территории, как на политическую случайность. Личная воля государя служила единственной пружиной государственной жизни... Из-за государя не замечали государства и народа» 12).

Этим представлениям сопутствовали такие социально-психологические стереотипы, как фатальная покорность судьбе, холуйское отношение **любого** «нижестоящего» к «вышестоящему» (что ярко проявляется в подчеркнуто самоуничижительной форме всевозможных челобитных и других обращений «наверх», авторы которых называли себя не иначе как «ничтожный раб», «холоп», «недостойные людишки» и т. п., одновременно всячески превознося своих адресатов), угодливая готовность подыгрывать в качестве статистов на устраивавшихся властью время от времени политических представлениях (подмеченная, в частности, Пушкиным в «Борисе Годунове»).

В дополнение к обозначенным социально-этической и социально-психологической опорам режима периодически подключались механизмы политической полиции и принудительной идеологизации. Нужда в деятельности этих механизмов обострялась в тех случаях, когда по тем или иным причинам временно ослабевал окружавший власть ореол богоданности и непогрешимости. Так, например, произошло в царствование Бориса, поскольку его право на престол не было столь бесспорным, как у его предшественников. В силу этого, во-первых, «была сплетена сложная сеть тайного полицейского надзора, в котором главную роль играли боярские холопы, доносившие на своих господ, и выпущенные из тюрем воры, которые, шныряя по московским улицам,

подслушивали, что говорили о царе, и хватали каждого, сказавшего неосторожное слово» 13); во-вторых, была разослана особая славославная молитва, «которую во всех домах за трапезой должны были произносить при заздравной чаше за царя и его семейство» 14).

В этом холопском обществе единственной возможной формой его социальной критики было юродство. Юродивый, блаженный как бы переступал через все мирские ценности, составлявшие основу существования «нормального» человека. Тем самым он, с одной стороны, становился практически неуязвимым для любых карательных мер (ибо всякая кара предполагает лишение человека чего-либо для него ценного, юродивый же заранее отрекся от всего), а с другой - как бы получал право «резать правду-матку» в глаза людям, поработенным мирскими благами и соблазнами, которые сам он преодолел. С тех пор так и повелось на Руси, что человек, называющий общественные пороки их настоящими именами, не иначе как умалишенный.

Для всех прочих оставались только молчаливые формы протеста, сводившиеся к самоизоляции от мира. Это был либо уход в монастырь, либо эмиграция. «Московский народ выработал особую форму политического протеста: люди, которые не могли ужиться с существующим порядком, не восставали против него, а выходили из него, «брели розно», бежали из государства» 15). Подобный тип негативной реакции на действия власти Ключевский трактует в духе некоего синдрома «слуги» или «постояльца», согласно которому тот может лишь уйти от неудобного хозяина или домовладельца, но не более того. «Когда подданные, связанные с правительством идеей государственного блага, становятся недовольны правящей властью, видя, что она не охраняет этого блага, они восстают против нее. Когда прислуга или постояльцы, связанные с домохозяином временными условными выгодами, видят, что они этих выгод не получают от хозяина, они уходят из его дома» 16). В предыдущей главе уже упоминалось о современной модификации этой концепции, принадлежащей перу Г.П.Аксенова.

Заметная часть эмигрантов вливалась в казачество. Насчет этого сословия существует популярная мифология, согласно которой

казачество - еще одна «колыбель российской демократии». Конкретная история, однако, говорит нам о другом. Скажем, так называемый «казачий круг» - скорее олигархический нежели демократический орган управления. Да и вообще казацкие сообщества были весьма специфическими образованиями с явно разбойничьим уклоном. Основу их жизни составляли, говоря современным языком, организованный бандитизм и наемничество. Исключительно конъюнктурные соображения определяли, в какую сторону в нынешний «промысловый сезон» пойти набегом - на Речь Посполитую, на Туретчину, Валахию, Крымское ханство или на Московию. Именно казаки (а отнюдь не поляки) были главной дезинтегрирующей и бесчинствующей силой в Смутное время. Наводившие ужас на современников походы Степана Разина тоже были отнюдь не «крестьянской революцией» (еще один исторический миф), а обычными разбойничьими набегам, выходившими из ряда вон лишь своими масштабами и дерзостью, но не целями. Пожалуй, казацкий *Modus vivendi* можно было бы сравнить с норманнским, с жизнью пиратских государств арабов, а впоследствии турок, цепочка которых протянулась в 12-15 веках по южному Средиземноморью. Можно было бы, если бы не обыкновение казаков беспрестанно продавать и перепродавать свои военные услуги. Не случайно Ключевский характеризовал казаков как «продажную саблю без Бога и отечества»

17) Позднее, в 18 веке, казаки сочли для себя выгодным более или менее стабильно «стать под руку» Российской империи и продолжать свой грабительский промысел на ее окраинах уже под эгидой царя. Но на этой сделке они постепенно лишились свободы маневра и были вовлечены в исправление как военных, так и полицейских надобностей государства. Скажем, навык полосовать шашками русские спины сохранился у казаков вплоть до XX века, что власти постоянно использовали при подавлении тех или иных беспорядков. В нравственном отношении казаки выделялись даже в худшую сторону по сравнению с прочими классами тогдашнего общества, ибо тех, по крайней мере, обуздывала традиционалистская, общинная мораль. Казаки же, были свободны от каких-либо сдерживающих начал, поскольку, отвергнув одну этическую систему, они не построили взамен

никакой другой и жили в этическом вакууме вседозволенности. О казацком образе жизни косвенно свидетельствует характер экспозиции в новочеркасском Музее истории донского казачества. В нем, вплоть до середины XIX века практически отсутствуют какие-либо орудия и атрибуты мирного труда: витрины полны всевозможным оружием и военными трофеями.

Но вернемся к описанию этического и социально-психологического облика «смирных» холопов московского царя. Поскольку активность в гражданской и политической сферах для них безусловно исключалась, то их чувства искали другие каналы для выхода и находили их. Сублимация происходила посредством переключения на пьянство и разгул. Эти «занятия», распространенные на Руси испокон веку, особенно пьянство, не только не осуждались, но даже поощрялись общественным сознанием как некое проявление удали и молодечества. Власти же всегда смотрели сквозь пальцы на негативные последствия такого освященного традицией и надежного способа заглушения зачатков гражданского самосознания. На распространенность данного явления впервые обратил внимание А. Олеарий в своем «Путешествии в Московию и обратно», написанном в период царствования Алексея Михайловича. Из огромной литературы на эту тему интерес представляет, например, исследование А. Петрищева по истории кабаков в России. 18)

О проблемах же, связанных с такими вещами, как права и свободы личности, на Руси ни в то время, ни полтора столетия спустя никто не только не помышлял, но даже толком и не слыхивал. Вообще блага свободного состояния ценились крайне мало. Доказательством может послужить хотя бы тот факт, что одним из основных источников пополнения холопства, т. е. древнейшего на Руси потомственного крепостного состояния, было **добровольное** поступление в холопы, а также добровольная или по воле родителей продажа свободного лица в холопство. (Для сравнения заметим, что в Афинах похожая форма утраты свободного состояния - долговое рабство - была запрещена Солоном в 594 г. до нашей эры.) Единственной сколько-нибудь надежной гарантией личной независимости могла служить только сила. Зато

значительная сила позволяла без оглядки попираť любые права других. Наиболее ярко это всеобщее бесправие проявилось в период опричнины, но и в другие времена «властный человек в древней Руси так легко забывал, что он не единственный человек на свете, и не замечал рубежа, до которого простирается его воля и за которым начинаются чужое право и общеобязательное приличие» 19).

Значительную роль в поддержании и упрочении рассматриваемых стереотипов российского сознания сыграла такая традиционная великоросская ценность, как сильная государственная власть. На Руси интересы государства всегда трактовались как нечто самодовлеющее, почти трансцендентное, неизмеримо более высокое и важное, чем интересы отдельных субъектов. Поэтому русские люди имели по отношению к своему государству только обязанности, государство же по отношению к ним — только права. «Сословия различались не правами, а повинностями, между ними распределенными. Каждый обязан был или оборонять государство, или работать на государство, т. е. кормить тех, кто его обороняет. Были командиры, солдаты и работники, не было граждан» 20). В результате политическое укрепление государства не только не расширяло возможностей народа, но, напротив, ухудшало его положение, поскольку придавало государству новые силы для угнетения своих подданных, вело к дальнейшему порабощению индивидов. Левиафан, поглощая человеческие пот и кровь, становился все требовательнее и наглее. **«Государство пухло, а народ хирел»** 21) (выделено нами - А.О.).

На этом фоне поражает практически полное отсутствие интереса к социально-политическим вопросам, к проблемам справедливого общественного устройства. Что можно вспомнить? Четыре письма Курбского да два Грозного? Замечания летописцев на тему о вреде усобиц и пользе сильной власти? Пожалуй, с большой натяжкой можно подвести еще под эту рубрику полемику между иосифлянами и нестяжателями. Согласитесь, негусто.

Для сравнения бросим взгляд на западную традицию. Не будем вспоминать античность. Но в XII в. «в Германии повсеместно, даже на площадях и в трактирах, читали или по крайней мере просили

переводить сочинения, где еще разгоряченные жаркими стычками церковники рассуждали на все лады о целях государства, о правах королей, их народов или пап. Другие страны не были до такой степени захвачены полемикой. Однако повсюду она оказывала свое действие. Отныне дела человеческие стали в большей мере, чем прежде, предметом для размышления» 22). В Италии XI в. (М. Блок цитирует императорского капеллана Випо) «всех, как есть, молодых людей (очевидно, все-таки из привилегированных классов. - А. О.) посылают в школы, чтобы они там трудились в поте лица, не переставали изучать, резюмировать, комментировать и варварские законы, и каролингские капитуляции, и римское право.»23) «С начала XII века в Англии получило развитие нечто, совершенно неизвестное по ту сторону Ламанша: юридическая литература, которая, будучи латинской по языку, являлась англосаксонской по основным своим источникам» 24). По Европе раскинулась сеть университетов, и тысячи людей не только получают систематизированные знания, но пытаются в устных и письменных диспутах найти ответы на актуальные вопросы своего времени 25). В первой половине XIV в. английский философ У. Оккам, много лет проживший при дворе Людвига Баварского, четко и недвусмысленно сформулировал мысль о власти как обязанности государя перед народом с вытекающими из такого ее понимания следствиями: «Свободные люди под властью императора - это далеко не рабы, ибо повинуются добровольно. Власть императора не безгранична: он не должен противоречить принципу «общего блага». В противном случае его постигает кара: народ правомочен перенести императорскую власть на более подходящее лицо» 26). Как далеко все это от конструкции «государства - царевой вотчины»! Последующие века - эпоха гуманистов, начало и расцвет Возрождения - расширили пропасть между европейским и российским политическим сознанием до колоссальных размеров.

Но в России, увы, не было даже системы элементарного образования, в том числе и для высших классов. Вплоть до XVIII в. единственным грамотным сословием было духовенство. Отвращение ко всякой науке

почиталось едва ли не за добродетель, за показатель верности истинной вере, противостоящей соблазнам «латинства».

Отсюда раз западные еретики усердствуют в поисках разных премудростей, то мы наказываем своей пастве: «Люби простоту больше мудрости, не изыскуй того, что выше тебя, не испытай того, что глубже тебя, а какое дано тебе от бога готовое учение, то и держи» 27). Коли «латына поганая» проявляет интерес к естественным наукам и математике, то «богомерзостен пред богом всякий, кто любит геометрию; а се душевные грехи ꙗ учиться астрономии и еллинским книгам» 28). Словом, «братия, не высокоумствуйте!».

Таким образом, негативное отношение русских к науке и к образованию есть одно из проявлений их извечной **латинобоязни**.

По тем же причинам всего подозрительнее русскому человеку казались любые изменения в заведенном порядке вещей.

Власть, как светская, так и церковная, хорошо понимала суть данного культурного стереотипа и постоянно манипулировала им в своих целях. Так, Борис Годунов, получивший, как известно, шапку Мономаха после пресечения мужской линии царствовавшей династии московских князей и избранный на царство Земским собором, в подтверждение своих прав ссылался отнюдь не на акт избрания, а на якобы существовавшие завещания Ивана IV и Федора в его пользу. Ссылка хотя бы на подобие традиционной формы передачи власти была для ориентированного на стабильность типа мышления аргументом гораздо более весомым, нежели факт народного избрания (мы сейчас не обсуждаем вопроса о степени достоверности или фальсифицированности выяснения «воли народа»).

Как мы знаем, ориентация на стабильность в качестве высшей ценности является главной чертой традиционалистского типа мышления. И здесь, видимо, можно подвести черту под описанием российского генотипа в момент, принятый нами за исходный пункт исторического анализа, ꙗ на рубеже XVI-XVII вв. Перейдем к следующей задаче, суть которой состоит в том, чтобы проследить его дальнейшую историческую судьбу.

Можно лишь предполагать, как долго еще народное сознание продолжало бы сохраняться в прежнем состоянии незамутненной цельности и непоколебимой уверенности в собственной правоте и исключительности, если бы не возникла чрезвычайная ситуация. Имеется в виду промежуток между 1598 и 1613 гг., вошедший в историю под названием Смутного времени. **В этот период стечение исторических обстоятельств впервые посеяло в национальном сознании сомнение в непогрешимости основных социально-этических и социально-психологических стереотипов, обеспечивающих устойчивость существующего общественно-политического устройства, и впервые поставило народ перед реальной возможностью выбора своего дальнейшего пути.** «Смутное время впервые и больно ударило по сонным русским умам, заставило способных мыслить людей раскрыть глаза на окружающее, взглянуть прямым и ясным взглядом на свою жизнь» 29).

В результате подверглись ревизии, по меньшей мере, три традиционных политических стереотипа: во-первых, народ обнаружил, что ни государь, ни государство не могут без него обойтись ни дня, тогда как сам он, во всяком случае некоторое время, вполне может существовать без них; во-вторых, выяснилось, что государство \neq отнюдь не царская вотчина, населенная случайными и бесправными пришельцами, скорее сами цари могут оказаться случайными и бессильными фигурами; в-третьих, выявилось совсем уж невероятное - оказывается, холопы обладают политической волей, которая, будучи выражена при определенных обстоятельствах и в определенной форме, может стать источником власти божьего помазанника. Вот такая пугающая, но заманчивая бездна открылась вдруг перед плоскостным системоцентристским сознанием.

В 1606 г. верховная власть впервые в русской истории совершила акт самоограничения. Боярин Василий Шуйский, восходя на престол, в так называемой подкрестной записи принял на себя обязательства, дававшие подданным определенные гарантии от царского произвола. По свидетельству летописца, после своего избрания царем он отправился в

Успенский собор и произнес там речь, в которой заявил: «Целую крест всей земле на том, что мне ни над кем ничего не делати без собору, никакого дурна». И сам факт, и содержание речи показались окружающим революционной выходкой. Неограниченная автократическая власть отказывалась от своей традиционной прерогативы - «налагать опалу без вины», распоряжаться «животом и смертью подданных». Пусть этот первый на Руси прообраз конституционного закона и затерялся в буре последующих событий, но на умы современников должен был произвести впечатление сам факт его появления.

Спустя четыре года, в самый разгар Смуты, появился на свет первый настоящий по своему содержанию конституционный акт. Правда, в силу специфики ситуации он имел форму договора между посольством боярина М. Салтыкова и польским королем Сигизмундом III об условиях принятия на московский престол королевича Владислава, но в данном случае нас интересует не юридическая форма документа, а его содержание. По содержанию же договор 4 февраля 1610 г. представлял план государственного устройства, в котором были сформулированы порядок высшего управления, права и ограничения сословий, а также личные права подданных. Даже одной идеи о том, что подданные московского царя могут иметь какие-то личные права, было бы достаточно, чтобы придать документу эпохальное значение. Однако поразителен и сам перечень прав. Особое внимание обратим на два из них: «... больших чинов людей без вины не понижать, а малочиновых возвышать по заслугам; каждому из народа московского для науки вольно ездить в другие государства христианские, и государь имущества за то отнимать не будет» 30).

Следует, правда, отметить, что в договоре от 17 августа 1610 г., на условиях которого Москва присягнула Владиславу, боярство исключило эти наиболее «крамольные», революционные по отношению к московским традициям статьи. Была вычеркнута подводившая мину под весь вековечный политический уклад статья, предусматривавшая возможность возвышения людей не по породе, а по их заслугам. «Высшее боярство зачеркнуло и статью о праве московских людей

выезжать в чужие христианские государства для науки: московская знать считала это право слишком опасным для заветных домашних порядков»³¹). Как видно, и в те времена московские государственные мужи считали «поправку Джексона» смертельно опасной для своего благоденствия.

Но самым революционным событием Смутного времени было, конечно, появление на московском престоле персонифицированного воплощения иного культурного генотипа - Лжедмитрия I. Богато одаренный, образованный, демократичный, храбрый, красноречивый, «на престоле московских государей он был небывалым явлением... он совершенно изменил чопорный порядок жизни старых московских государей и их тяжелое, угнетательное отношение к людям... со всеми обращался просто, обходительно, не по-царски. Он тотчас показал себя деятельным управителем, чуждался жестокости, сам вникал во все, каждый день бывал в Боярской думе, сам обучал ратных людей... По временам он ставил на вид своим советникам в думе, что они ничего не видали, ничему не учились, что им надо ездить за границу для образования» ³²). Во внешней политике он принял гибкую прозападную ориентацию, сочетавшуюся с заботой об укреплении положения России «по всем азимутам», т. е. линию, для избрания которой не хватило государственной мудрости ни у одного из его преемников в течение, по крайней мере, еще полутора веков. Он стремился к тому, чтобы Россия вошла в семью европейских стран в почетной роли лидера борьбы с азиатской угрозой. С этой целью Самозванец «хлопотал поднять против турок и татар все католические державы с православной Россией во главе» ³³).

Наличие у Лжедмитрия I качеств весьма незаурядного политического деятеля с принципиально новыми для Московии политическими ориентациями отмечали помимо Ключевского и другие крупнейшие историки XIX в. - Н. Костомаров, С. Салтыков. Главным источником по весьма скудно документированному периоду его пребывания на престоле стали опубликованные Н. Устряловым в 30-х годах прошлого столетия пять томов «Сказаний современников о Дмитрии Самозванце». В неподцензурной же печати - «Колоколе» периода его женеvского

издания - Л. И. Мечников рассматривал его как личность прямо-таки выдающуюся. В печатавшейся из номера в номер работе «Противники государства на Руси» он пишет, что во внутренней политике основной идеей Дмитрия было «вывести народные низы из униженного и рабского состояния, в каком они находились», во внешней политике - «поднять свое государство, как по существу, так и по положению, до уровня европейской державы... Чтобы заслужить признание Западной Европы, он хотел оказать ей неоценимую услугу, отбросив турок и татар в глубь Азии... Его излюбленным планом было создание объединенной славянской империи, и он хотел достичь этого не путем завоеваний, а дав своей стране конституцию, которая бы соответствовала национальным тенденциям славянского народа» 34).

Однако нашим современникам со школы внушалась лишь порожденная официозной историографией романовского дома «оперно-патриотическая» версия событий. Так у царской и большевистской исторической мифологии оказался один и тот же «образ врага» в лице человека, впервые попытавшегося повернуть страну на другой путь. Это, впрочем, естественно: для любого из вариантов системоцентристского мировоззрения подобные фигуры олицетворяют вызов и угрозу.

Увы, **политическая переориентация была слишком резкой**. Ценности, которые несло правление Лжедмитрия, оказались абсолютно чуждыми для тогдашнего российского сознания (что не находится в противоречии с той популярностью, которую приобрел Лжедмитрий среди простого народа, так как это было реакцией на чисто человеческие качества молодого царя: народ увидел в нем воплощенный идеал «добротного царя», по которому он так истосковался за тиранический XVI век; политическая же его программа была мало кому известна). Программа Лжедмитрия была чужеродной для сознания как боярской знати, так и других слоев общества. (Выше уже говорилось, что разные социальные страты обладали в данном отношении значительным подобием.)

Обреченность рассматриваемой попытки пересадить на российскую почву персоноцентристский образец (о генотипе в любом случае говорить явно преждевременно) дополнительно усугублялась и тем обстоятельством, что его носители пришли на нашу землю с оружием в

руках и к тому же не давали себе труда скрывать презрение к русскому «быдлу». «Поляки обращались с московскими жителями с таким же презрением, с каким люди известного ранга обращаются с дикарями или с людьми, которыми они, как им кажется, призваны управлять и просвещать» 35). И царь пал жертвой дворцового заговора, а первый росток персонцентризма погиб, не успев распуститься, не вынеся соприкосновения с жестким московским политическим климатом.

Во время Смуты русские люди получили возможность почувствовать себя гражданами. Но возможность эта не была использована, так как ни одна из составлявших тогдашнее общество социальных групп не поднялась до уровня, на котором человек начинает сознавать себя гражданином, т. е. лицом, обладающим чувством социальной ответственности. Выяснилось также, что в условиях ослабления сдерживающей узды государственной власти в массовом сознании перестают действовать какие-либо моральные ограничители. Дозволенным становится все практически достижимое. Тем и страшен «бессмысленный и беспощадный» (Пушкин) русский бунт. Из лагеря Ивана Болотникова «по Москве распространялись прокламации, призывающие холопов избивать своих господ, за что они получают в награду жен и имения убитых, избивать и грабить торговых людей; вора́м и мошенникам обещали боярство, воеводство, всякую честь и богатство» 36).

Не в последнюю очередь рассматриваемая возможность перевести московский общественно-политический уклад на иную траекторию развития была упущена потому, что все действовавшие лица «добивались в Смуте не какого-либо нового государственного порядка, а просто только выхода из своего тяжелого положения, искали личных льгот, а не сословных обеспечений» 37). Члены всех сословий были ориентированы только на то, чтобы «урвать» что-либо для себя лично за чуждой счет, и Смуту рассматривали лишь как удобный случай «половить рыбку в мутной воде», узурпируя права других и манкируя своими обязательствами.

К сожалению, не составлял в этом отношении исключения и тот класс, который по своему положению в политической структуре обязан был

иметь более высокий уровень политической культуры и государственной мудрости. Я имею в виду боярство. Но несмотря на то что в течение нескольких веков бояре находились максимально близко к государственной власти, а в некоторые периоды, например после смерти Василия III, и захватывали на какое-то время бразды правления в собственные руки, они ни разу не поднялись выше сугубо личных и родовых интересов. Захваченную власть они всегда использовали самым близоруким образом, понимая ее как возможность сейчас, сию минуту «урвать от пирога». При этом они проявляли неспособность даже к созданию в собственных же интересах сколько-нибудь прочной коалиции, непрерывно грызлись между собой. Не удивительно поэтому, что ни одна из группировок не была в состоянии надолго удержаться у кормила. К тому же они, в сущности, были теми же холопами, только высокопоставленными, которых при случае могли и кнутом высечь; каким-либо понятием о личном достоинстве они не обладали.

Кстати, основная, на мой взгляд, слабость, искусственность конструкции Янова как раз и состоит в том, что на роль главного носителя оппозиционной прогрессивной контркультуры он выдвигает боярство, многократно демонстрировавшее свою полную непригодность к этой роли, неспособность понять, что власть - не кормушка, а в первую очередь ответственность перед обществом.

Несоответствие между задачами, выдвигаемыми политической ситуацией, и уровнем общественного сознания, пожалуй, наиболее драматичным образом проявилось в неспособности последнего к усвоению идеи выборной власти. Выборный, а не наследственный царь представлялся московским умам, не знавшим иного стереотипа, кроме «царя-батюшки», явной несуразницей, чуть ли не нарушением законов природы. Пренебрегая недешево доставшимся политическим опытом двух последних царствований династии Калиты, когда на московском престоле восседали в тоге божиих помазанников сначала патологически жестокий тиран, а затем его умственно неполноценный сын, они были готовы отдать власть любому, кто как-то убедит их в своем родстве с прежней династией. Родственные узы, и только они, могли быть приняты русской политической культурой в качестве источника верховной власти.

Каким контрастом этим представлениям выглядят, например, размышления, которыми пятьюдесятью годами раньше делился со своими соотечественниками житель соседней, тоже славянской, страны поляк Анджей Фрыч Моджевский! В трактате под знаменательным названием «Об исправлении государства» он писал: «У поляков недостаточно родиться сыном короля. Следует выбирать того, кто будет обладать этой высшей властью. Чем является рулевой, тем является царь в своем царстве. Ни один благоразумный человек, выбирая рулевого, не будет руководствоваться его происхождением, но только его опытностью в управлении кораблем. Точно так же при выборе королей следует руководствоваться не их родовитостью, но их способностью управлять республикой. Так как польские короли не рождаются, но выбираются с разрешения всех сословий, то они не должны обладать такой властью, при которой могли бы по своему произволу издавать законы, накладывать налоги или устанавливать что-либо навсегда. Все, что они делают, они делают как с согласия своих сословий, так и согласно предписаниям законов. Это более правильный образ действий, чем у тех наций, у которых цари по своему произволу накладывают на народ налоги, объявляют войны внешним врагам и исполняют другие функции. Хотя это часто делается исходя из интересов государства и для его блага, однако, поскольку цари не подчинены законам, они легко склоняются к этой ненавистной тирании, главная особенность которой состоит в том, что все делается согласно их прихоти, в то время как царская власть должна повиноваться обычаям и законам отечества и управлять согласно их предписаниям» (38).

Рассуждения, вполне достойные пера Монтескье, не так ли? Но появились они двумя столетиями раньше, на восточной окраине европейского мира. В русле же системоцентристской традиции подобный взгляд на вещи попросту невозможен.

Однако вернемся на родную почву, где в начале XVII в. русский народ, подобно былинному витязю, оказался на перепутье и мог выбирать между различными историческими путями - старым, изъезженным и бесперспективным, но зато хорошо известным, и новым, неизведанным,

но заманчивым. После краткого бурного брожения умов он предпочел вернуться к старине, к прежнему «безумному молчанию всего мира».

Российское общество предпочло забыть добытую им с таким трудом политическую премудрость и отшатнулось от возможности перестроить свою жизнь на иных началах. Холопы побоялись остаться без хозяина, рабы испугались перспективы свободы. Ведь свобода предполагает ответственность за свои действия. А к бремени ответственности русский народ был совершенно не готов. Самое большее, на что он оказался способен, это посадить на престол «доброе царя», родственного прежней династии.

Как известно, шапку Мономаха водрузили по этим признакам на 16-летнего юношу, племянника Федора Иоановича. Выбирали отнюдь не способнейшего, а удобнейшего. Роль народа выразилась лишь в том, что он позволил оформить воцарение Михаила Романова в виде фикции всенародного одобрения.

Так был в первый раз упущен реальный шанс свернуть на персоноцентристскую историческую колею.

Но все же Смутное время не прошло бесследно для русского общества. Обитатели Московского государства познакомились с прибывшими в польской упаковке образцами иного культурного генотипа (эти образцы еще, конечно, нельзя считать настоящим персоноцентризмом, но рядом черт последнего они уже обладали). Москвитяне отвергли их, но представление о них сохранилось. А раз так, то сохранилась и возможность для сравнения. Сравнение же было явно не в пользу домашних порядков, ибо после ста лет колоссальных жертв и перенапряжения народных сил Россия в XVII в. оказалась более отсталой от Запада, чем была в начале XVI в.

В это время русское общество начало постепенно сознавать превосходство западного образа жизни, способность Запада гораздо более успешно решать свои экономические, политические и культурные проблемы, не говоря уже о его возможности предоставить своим гражданам устойчивое, безопасное и полноценное существование. «Итак, западное влияние вышло из чувства национального бессилия, а источником этого чувства была все очевиднее вскрывавшаяся в войнах,

в дипломатических сношениях, в торговом обмене скудость собственных материальных и духовных средств перед западноевропейскими, что вело к сознанию своей отсталости» 39).

Постепенно, под давлением обстоятельств, наиболее здравомыслящие московские управители стали понимать необходимость каких-то перемен. Правда, в течение долгого времени эти «здравомыслящие» оставались в явном меньшинстве. Но веком раньше и того не было. Так что семена, занесенные западным ветром, все же не пропали.

К числу государственных деятелей, носителей преобразовательных реформенных ориентаций, следует отнести боярина Б.И. Морозова - воспитателя царя Алексея Михайловича, ближайших сотрудников царя - Ф. М. Ртищева и А. Л. Ордина-Нащокина, их духовного наследника - князя В.В. Голицына, автора намного опередивших время реформаторских идей, ближайшего сотрудника царевны Софьи. При всех различиях перечисленные лица обладали рядом общих черт этического и психологического свойства: гуманным, человеческим отношением к управляемым; резко критическим отношением к отечественным порядкам; западническими, и в частности пропольскими 40), ориентациями как в политике, так и в культуре; твердыми установками на пользу образования (что в те времена было в России совсем не частым явлением); стремлением к рационализации государственного управления, повышению его эффективности посредством, в частности, уменьшения его зависимости от личных интересов отдельных влиятельных персон 41).

Следует также отметить, что явно выраженная устремленность этих деятелей к западным образцам отнюдь не носила характер эпитонства, а основывалась на стремлении к «творческому усвоению иностранного опыта», к попыткам найти возможность для соединения европейской культуры с русской национальной самобытностью. Эти люди сделали для России немало. Однако их усилия, при всех видимых достижениях, не в силах были поколебать господствующий культурный тип. Системоцентристское болото быстро затягивало следы, остававшиеся от шагов преобразователей.

Впрочем, конкретных действий в направлении изменений было сделано не так уж и много. Большая часть намечавшихся преобразований замерзала на стадии планов, проектов или в лучшем случае первых подготовительных шагов. Отчасти это объясняется тем, что арбитром в спорах между сторонниками модернизации и консерваторами долгое время выступал царь Алексей Михайлович. «Тишайший» отнюдь не чуждался новых иноземных веяний и поддерживал их выразителей, но лишь до тех пор, пока не встречал энергичного возражения со стороны ревнителей старины. Тогда вступал в силу его добродушно-нерешительный характер, склонность к компромиссам, и в результате либо принималось половинчатое решение, либо вопрос вообще повисал в воздухе. Реакции царя часто были непоследовательными: он и хотел перемен, и боялся их. «Одной ногой он еще крепко упирался в родную православную старину, а другую уже занес было за ее черту, да так и остался в этом нерешительном переходном положении» 42).

Тогда впервые обнаружилась одна примечательная особенность русской модернизации и «вестернизации», неоднократно проявлявшаяся затем в более поздние периоды нашей истории и сохранившаяся в несколько видоизмененной форме вплоть до настоящего времени. Речь идет о постоянном стремлении власти, инстинктивно чувствовавшей (и чувствующей) смертельную для себя угрозу в бесконтрольном распространении среди русского общества западных образцов мышления и поведения, во-первых, ограничить этот процесс только теми областями, в которых он «работает» на цели государственной политики (например, повышает боеспособность армии), и во-вторых, сбалансировать его «укреплением морального единства» народа, подчеркивая идеологическую «особость» русских, их монопольное владение «единственно верным» мировоззрением. Словом, разыгрывалась обычная оппозиция «мы - они». Долгое время роль такого безотказно действующего идеологического символа выполняло православие и отчасти самодержавие в образе царя-батюшки. Потом символы изменились, но принцип решения задачи остался тот же: плоды западной культуры возьмем, но никакого распространения духа, породившего эти плоды, не допустим.

Однако проводить в жизнь стратегию «избирательной модернизации» оказалось делом не простым. С самого начала процесс обнаружил склонность выходить из-под контроля, потенциальную неуправляемость и, следовательно, свою небезопасность для властей, поскольку московские правители могли чувствовать себя спокойно только при условии полного контроля над всеми действиями подданных. Любая форма несанкционированной или, по крайней мере, неконтролируемой активности неизбежно колеблет устои власти. Таков закон деспотического правления, основанного не на согласии управляемых с действиями управляющих, а на твердости правящей руки.

Политика «избирательной модернизации», таким образом, изначально содержала в своей основе логическое противоречие, ибо совершенно искусственно отделяла результаты от условий их достижения, плоды прогресса от духа, этот процесс породившего. В результате она вызвала оппозиционные движения на обоих полюсах тогдашнего российского общества.

С одной стороны, даже ограниченное знакомство с западными культурными образцами создавало неблагоприятный фон для отечественных порядков, поскольку возникала возможность для сопоставления. И не случайно именно в этот период на Руси появились первые настоящие «диссиденты», ушедшие далеко вперед от своего предтечи князя Курбского, который сомневался лишь в том, что статус «помазанника Божия» автоматически освящает любое тиранство.

Инакомыслящие XVII столетия - качественно иное явление. Можно даже говорить о его известной дифференцированности, о зарождении различных типов и уровней критики отечественной действительности. Колоритным представителем наиболее примитивного уровня критики был князь И. А. Хворостинин. Вся суть его позиции сводилась к основанному на эмоциях тотальному неприятию всего отечественного и желанию любым путем очутиться на Западе. Свое отрицание господствующей на родине идеологии он выражал тем, что пил без просыпу в православные праздники, не ходил к светлой заутрене и не поехал в первый день Пасхи во дворец христосоваться с царем.

Значительно более высокий уровень критической мысли отличает бежавшего на Запад подьячего Посольского приказа Гр. Котошихина. Написанное Котошихиным уже в Швеции сочинение «О России в царствование Алексея Михайловича» (СПб., 1859) отличается острой наблюдательностью и довольно глубокими суждениями о различных сторонах жизни в покинутом отечестве.

Еще более высокий уровень диссидентской политической мысли представлен фигурой Ю. Крижанича. По своим жизненным ориентациям Крижанич противоположен Хворостинину и Котошихину. Те разочаровались в России и рвались на Запад, полностью отказывая русскому обществу в обладании какими-либо имеющими универсальное значение ценностями и не видя возможностей для его совершенствования. Крижанич, напротив, приехал в Москву с католического Запада для того, чтобы помочь единокровным братьям-славянам (сам он был сербом) обрести политическое единство, преодолеть невежество, заблуждения и прочие неурядицы. Судьба его, как мы знаем, была печальной. Через год с небольшим после приезда он был отправлен в сибирскую ссылку, где пробыл ни много ни мало 15 лет, после чего был отпущен умирать на Запад. Причина его опалы очевидна: приехавший с самыми благими намерениями и несколько идеализированными представлениями о Московском государстве, Крижанич начал критиковать увиденный им в реальности строй, обозначив его хлестким и точным словом - «людодержавство». Но в отличие от сочинения Котошихина труд Крижанича «Политичные думы» содержит не только критику существующих порядков, но и рекомендации по их исправлению, т. е. подобие позитивной программы. Более того, от наблюдений и проектов Крижанич поднимается до широких философско-исторических обобщений: до рассуждений о Востоке и Западе как разных культурных типах и о роли различных народов в мировой истории. В своих суждениях Крижанич опередил не только русскую, но в значительной мере и западноевропейскую общественно-политическую мысль. И потому судьба его (как судьба всякого подлинного, а не псевдореформатора) была предрешена.

С другой стороны, с курсом правительства на умеренную, избирательную модернизацию, на частичное, ограниченное сближение с Западом отчаянно, фанатично боролась консервативная оппозиция. Ее идейный отец - протопоп Аввакум - обладал незаурядными личными качествами, был решителен и бескомпромиссен. Отчасти поэтому движение за сохранение чистоты веры отцов почти с самого начала приобрело черты священной войны с «ревизионистами». Правительство восприняло ситуацию со своей колокольни - как неповиновение официальному авторитету - и соответственно отреагировало. Несмотря на то что наиболее яростный преследователь староверов - патриарх Никон - в один момент перегнул палку и сам оказался не у дел, гонения на раскольников продолжались. Те сопротивлялись в драматических, потрясших умы современников формах: начался массовый исход из «опоганных мест» в северо-восточную таежную глухомань, запылали костры коллективных самосожжений. В народе возникло брожение, питавшееся сочувствием к «страдальцам за веру». (Кстати, раскол, пожалуй, единственная форма диссидентства, нашедшая отклик в толще народа.) Ситуация, возникшая в результате церковного раскола, еще в большей степени сокращала представителям западнической ориентации возможности для маневрирования.

В то же время даже намек на либерализацию правления стимулировал возникновение некоего подобия легальной оппозиции. На Земском соборе 1642 г., а также двадцатью годами позже на совещании правительственной комиссии с торговыми людьми о причинах наступившей дороговизны земские люди, «сохраняя почтительный тон... высказались довольно возбужденно о расстройстве управления, о беспрепятственном нарушении законов привилегированными, о пренебрежении к общественному мнению со стороны правительства... Это были осторожные коллективные заявления классовых нужд и мнений» 43).

Таким образом, перед нами как будто вырисовывается картина противоборства достаточно дифференцированных политических направлений. Однако если не считать религиозной борьбы, то все это мало затрагивало глубины народного сознания, не оказывало

существенного воздействия на моральные и социально-психологические стереотипы. Сколько-нибудь серьезные изменения касались лишь тончайшего поверхностного слоя. Масса же оставалась в прежнем состоянии.

И все же в XVII в. в русском обществе впервые хотя бы обозначилась потенциальная возможность его дивергенции по признаку различия культурных стереотипов (и это очень важно для понимания последующего развития событий). «Западное влияние разрушило нравственную цельность древнерусского общества... Как трескается стекло, неравномерно нагреваемое в разных своих частях, так и русское общество, неодинаково проникаясь западным влиянием во всех своих слоях, расколосось» 44).

Кстати, и в дальнейшем правительственная мысль своей крайней медлительностью и неповоротливостью немало способствовала расколу общества. В то время как уже с начала XVIII в. начинается практически неограниченный импорт западных технологических и культурных образцов, о подготовке почвы для их правильного усвоения еще очень долго никто всерьез не заботился. Практически очень мало делалось для того, чтобы приобщить народ к самому знанию, иными словами, заняться его образованием.

Парадоксально, но программа преобразований сложилась и даже начала проводиться в жизнь в те два десятилетия, которые отделяют смерть «тишайшего» от прихода к единоличной власти Петра I, особенно во время семилетнего правления царевны Софьи. С нелегкой руки придворной советской истории, и в этом унаследовавшей мифологию официальной романовской историографии, то время считается периодом господства консерваторов. На деле же именно тогда была сформирована концепция всесторонних реформ, далеко превосходивших петровскую «перестройку». А.С.Демин точно охарактеризовал эту ситуацию в своем предисловии кинтересной книге А.П.Богданова: «Петровское время началось без Петра и до Петра». 45). Наряду с военными, фискальными и политическими мерами она также включала развитие торговли, промышленности, учреждение городского

самоуправления, открытие общих и технических школ и самое главное - освобождение крестьян с наделением их землей. Главным автором концепции был один из преемников Ордина-Нащокина по управлению Посольским приказом князь Василий Голицын. Например, в крестьянском вопросе «великий Голицын» (так называл его польский посланник Невилль, оставивший подробные записи голицынских планов - по сути, главный источник по этому вопросу) предвосхитил почти на два столетия реформу Александра II, по существу, сформулировав идеологию свободного фермерского хозяйства с ежегодной выплатой подати в казну.

Увы, целиком связав себя с правительством Софьи, Голицын вместе с нею ушел в политическое небытие после дворцового переворота 1689 г., приведшего к власти Петра. Что же касается идеологической версии о якобы реакционном характере правления Софьи (в советском массовом сознании она укоренилась в значительной мере благодаря талантливому заказному роману А.Н. Толстого), то можно противопоставить ей хотя бы отзыв кн. Б.И. Куракина. Его трудно заподозрить в политическом пристрастии к Софье, так как он был свояком, шурином и одновременно близким сотрудником Петра и, следовательно, политическим противником его сестры. Тем не менее в своих записках он оставил такой отзыв: «Правление царевны Софьи Алексеевны начиналось со всякою прилежностью и правосудием всем и ко удовольствию народному, так что никогда такого мудрого правления в Российском государстве не было; и все государство пришло во время ее правления через семь лет в цвет великого богатства, также умножились коммерция и всякие ремесла, и науки почали восставлять латинского и греческого языку... И восторжествовала тогда довольность народная». И еще одно косвенное свидетельство роста «довольности народной» при правительстве Софьи и Голицына: за те недолгие годы в почти сплошь деревянной до того Москве было построено более трех тысяч каменных домов.

Таким образом, анализ динамики развития политического сознания в России на протяжении XVII столетия подводит к мысли о том, что программа модернизации страны в своих основных чертах сложилась

еще до появления Петра I на исторической сцене. Более того, эта программа предусматривала ряд важных мероприятий демократического характера, что противоречило всей направленности деятельности Петра, и, следовательно, она была более прогрессивной, чем проведенные Петром реформы. Разумеется, задача преодоления системоцентристского генотипа в любом случае оставалась чрезвычайно сложной, и на ее разрешение несомненно ушел бы целый исторический период. Но все же значительна вероятность того, что русское общество постепенно переползло бы на рельсы персоноцентристского развития. Все это могло бы произойти, если бы не Петр, не только присвоивший сложившиеся до него преобразовательные идеи (это с исторической точки зрения не столь уж важно), но и в корне извративший их смысл! То что реформу довелось осуществлять Петру, по моему глубокому убеждению, оказалось для России величайшим несчастьем 45).

Сноски к главе 2.

1 О культурной близости и этнических переплетениях Древней Руси с населявшими степь кочевыми народами см., напр.: Сулейменов О. Аз и Я: Книга благонамеренного читателя. Алма-Ата, 1975.

2 См.: Гумилев Л. Н. В поисках вымышленного царства. М., 1970.

3 См.: Карамзин Н. М. История государства Российского. В 12 т. М., 1992. Т.4. С.128-141. Историк пишет в данной связи: «...простим ли ему смерть Александра Тверского, хотя она и могла утвердить власть Великокняжескую? Правила нравственности и добродетели святее всех иных и служат основанием истинной Политики. Суд Истории, единственный для Государей кроме суда Небесного, - не извиняет и самого счастливого злодейства» (Там же. С.142).

4 Ключевский В. О. Курс русской истории. В 8 томах. М., 1958. Т.2. С.43.

5 Другое боковое ответвление российской народности - население западнорусских земель - мы оставляем за пределами рассмотрения, поскольку его развитие происходило в совершенно иной культурно-исторической зоне. Оно жило ценностями литовского, затем польского общества, а позднее разделило с ними их незавидную историческую судьбу.

6 Ключевский В. О. Указ. соч. Т.2. С.418.

7 Ключевский В. О. Указ. соч. М., 1958. Т.3. С.6.

8 Это узнавание черт собственной жизни и среды в сознании и укладе жизни своих далеких предков - одна из причин, по которым нельзя жалеть место для воспроизведения глубоких и сочных характеристик и суждений Ключевского, чьи работы, по-моему, еще не оценены по достоинству. Уровень его проникновения в суть явлений в некоторых случаях просто удивителен.

9 Ключевский В. О. Указ. Соч. Т.3. С.16.

10 Там же. С.17.

11 Там же. С. 51-52.

12 Там же. С.67.

13 Там же. С.31.

14 Там же. С.32.

15 Там же. С.52.

- 16 Там же.
- 17 Там же. С.112.
- 18 Петрищев А. Из истории кабаков в России. Петроградъ; М. 1917.
- 19 Ключевский. Там же. С.323.
- 20 Там же. Т.2. С.397.
- 21 Там же. Т.3. С.12.
- 22 Блок М. Феодальное общество // Блок М. Апология истории, или Ремесло историка. М., 1973. С.158.
- 23 Там же. С. 160 -161.
- 24 Там же.
- 25 О том, до какого накала порой доходили страсти, разжигаемые отнюдь не меркантильными или вельможными соображениями, но поисками истины, см., напр.: Шевкина Г.В. Сигер Брабантский и парижские авероисты XIII в. М., 1972.
- 26 Курантов А. Н., Сказкин Н. И. Уильям Оккам. М., 1978. С.53.
- 27 Ключевский В. О. Указ. соч. Т.3. С.296.
- 28 Там же.
- 29 Там же. Т.3. С.359.
- 30 Там же. С.42.
- 31 Там же. С.44.
- 32 Там же. С.33-34.
- 33 Там же. С.34.
- 34 Колокол (газета А. И. Герцена и Н. П. Огарева). Женева. 1868-1869. М., 1978. С.94.
- 35 Там же. С. 95.
- 36 Ключевский В. О. Указ. соч. Т.3. С.47.
- 37 Там же. С.48.
- 38 Моджевский Анджей Фрыч. Об исправлении государства // Польские мыслители эпохи Возрождения. М., 1960. С.72-73.
- 39 Ключевский В. О. Указ. соч. Т.3. С.259.
- 40 В тот период Польша, вопреки политическим конфликтам, была для России главным проводником западной культуры, а польский язык выполнял в тогдашнем московском обществе функции, весьма похожие (конечно, с поправкой на его меньшую распространенность) на функции

французского языка в петербургском обществе XIX в., т. е. был средством общения наиболее культурной части общества. В немногочисленных московских домашних библиотеках преобладали польские книги.

Любопытно, что жители западнорусских и малороссийских земель, будучи в орбите польского влияния, по степени распространения среди них образования резко отличались в лучшую сторону от своих московских собратьев. Последние обитали в национальном государстве и стремились к освобождению несчастных соотечественников от польско-литовского ига, но были вынуждены даже учителя русского языка и грамматики для царских детей - Симеона Полоцкого - призвать с «порабощенных» территорий.

41 Особняком среди деятелей преобразовательного направления стоит фигура патриарха Никона с его греческой ориентацией, сосредоточившегося на борьбе с безнравственностью и религиозным невежеством русского народа, проявлявшего крайнюю нетерпимость и грубость по отношению ко всем, кто был не согласен с его линией, и даже к просто колеблющимся. Никон по сути - борец за культуру, по формам ее внедрения - восточный тиран.

42 Ключевский В. О. Указ. соч. Т.3. С.320.

43 Там же. С.240.

44 Там же. С.361-362.

45 Богданов А.П. От летописи к исследованию. Русские историки последней четверти XVIII века. М. 1995. С.6.

46 Разумеется, я не претендую на переоценку всех сторон деятельности Петра I. В соответствии с избранным методологическим подходом я акцентирую внимание на этико-психологических аспектах и сознательно оставляю за пределами рассмотрения ряд других, действительно достаточно новаторских сторон деятельности Петра, в частности военную и судебную реформы, а многие другие его преобразования рассматриваю лишь в контексте своей главной задачи - анализа динамики борьбы системоцентристских и персоноцентристских начал в национальном сознании. По опыту своих предыдущих публикаций на данную тему я знаю, что именно мои оценки петровского периода

вызывают наибольшие дискуссии и разброс суждений « от полной поддержки до категорического несогласия. Считаю это естественным и ни в коей мере не претендую на обладание конечной истиной. Готов к продолжению научного диспута по данной чрезвычайно важной для нашего исторического самосознания, но, к сожалению, до сих пор сильно идеологизированной теме.